

ЭЮеня Декина

г. Москва

Играй-играй!

Тяжелый мяч взмывал вверх и летел дугой через сетку. Как вражеский снаряд, как пушечное ядро, как булыжник, пущенный прямо в голову. И увернуться нельзя, надо принять. Пропустить — стыдно. Некоторые девочки уже заранее отскакивают, и раздается чье-нибудь:

– Ну ты че?

И тогда строгий физрук Виктор Иваныч в советском еще костюме недовольно крякнет и отвернется. Только бы не сюда. Не сюда, пожалуйста. Можно в Борьку? Или в Валерку, он точно отобьет. Но мяч неумолимо нарастал и приближался. Огромный и тяжелый, как пушечное ядро, как снаряд, как... И в этот момент раздавался спасительный окрик тренера:

– Играй-играй!

Аля не могла понять, как он догадывается. Ты даже плечом повести не успел, а он уже крикнул. Неужели он, как бог, видит всех одновременно и чувствует, где страх. Но на бога злобный, кривоногий и совершенно лысый Виктор Иваныч похож не был. Разве что на черта. Только потом Аля догадалась, что следит тренер совсем не за игроками, а за мячом. И кричит он только девочкам, не понимающим, как сложить руки.

После физкультуры Аля шла домой теми же подворотнями, из которых могла выпрыгнуть собака, поднималась той же лестницей, кишащей крысами, или отец мог караулить у двери, но в такие дни Аля больше не дожидалась случайных прохожих. Она шла сама. Шла и рассматривала синяки или шевелила распухшими пальцами, и эта боль напоминала о том, что Аля все-таки смогла. Сыграла.

Вечером с работы приходила мама. Маму все обижали. Обижали злые продавщицы, не выходившие вовремя, ленивый грузчик и ворчливые бабки с колясками. Мама терпела. Плакала она, только когда приходил отец и отбирал деньги. Аля хотела ее пожалеть, но мама говорила, что это от лука. Хотя Аля точно знала, что никакого лука в супе не было. И Аля мечтала, что когда вырастет, будет работать вместо мамы, чтобы не маму, а ее обижали. Но училась Аля так себе. Впрочем, в магазин, наверное, возьмут.

Как-то на уроке, сразу после физкультуры, учительница спросила домашнее задание и посмотрела на Алю. В голове сам собой вспыхнул суровый тренерский голос:

– Играй-играй!

И Аля, даже не успев ничего сообразить, по привычке подняла руку. Ответила она правильно, и учительница похвалила ее. Потом это стало случаться чаще. Будто бы тренер поселился у нее в голове, и теперь, когда становится страшно, он кричит ей оттуда: «Играй-играй!».

А настоящий тренер на уроке перестал ей кричать. Але было приятно. Как будто она выросла, и теперь она – нормальный игрок, а не как эти.

Она пошла к маме в магазин, чтобы рассказать. Но маме некогда было разговаривать, и Аля принялась таскать тяжелые лотки. Бабка с тележкой в очереди возмутилась, почему такая маленькая девочка таскает тяжести, и Аля, повторив себе привычное «Играй-играй!», ответила, что грузчик все время орет, и мама его боится. Бабка позвала директора, и Аля нажаловалась ему на грузчика. Грузчика отругали. Дома за ужином мама долго присматривалась к Але, будто не узнавая, а потом пришел отец. Мама хотела выключить свет и доедать в темноте, но Аля пошла к двери. Ноги не хотели идти. Из глазка смотрела огромная испитая морда. «Играй-играй!» — подумала Аля, но вслух крикнула другое. «Помогите!». И еще раз. И еще. Отец подолбился немного, но все же ушел.

Вернувшись на кухню, Аля рассказала маме секрет:

– Я заклинание знаю, волшебное. Надо говорить себе: «Играй-играй!», и сразу все получится.

Мама посмотрела на Алю как-то странно и почему-то опять заплакала. Аля погладила ее по голове и пошла чистить зубы. На следующий день Аля записалась на волейбол. Особых надежд на нее не возлагали, но через пару лет она внезапно изрослась, окрепла и теперь играет в городской сборной. А скоро, может, и в областную возьмут.

Сын Ваньки Пантелеева

Где-то капало. Он лежал с открытыми глазами и слушал. А завтра — все. Ни потолка, ни капель, ни койки, ничего не будет. И это «ничего» представлялось до такой степени чудовищным, что лучше бы параша, вонючие носки и брезгливые усмешки.

И вспомнить-то, как назло, особо нечего. Не жизнь — а так, нелепость какая-то. Первые теплые лучи весеннего солнца на изрисованной школьной парте; собственное восторженное лицо и пот за ушами — кросс в третьем классе пробежал лучше всех; мама, ласково целующая в лоб; смешная лохматая собака, плывущая навстречу. Любка еще. И не то, чтобы любил ее очень, по-хорошему и понять-то не успел. Но когда обнимал в темноте под вишнями, заедая поцелуи переспелой ягодой, по телу прокатывалась колючая волна, от которой немели ступни. А потом, в тот первый быстрый раз у маленького, зацветшего изумрудной зеленью пруда, после всего уже, долго разглядывал листья ряски, которые даже на воде умеют пускать корни. А она лежала рядом, теплая и теперь уже знакомая, обнимала мягкой рукой и тоже молчала. Деловито ползали муравьи, солидный жук пролетел мимо, и все вокруг казалось потускневшим и необычайно мирным.

Из тюремного вообще лучше не надо. Впрочем, уже после, когда с ним больше никто не говорил. Год на второй. Или на третий. Новенький — лысый мелкий монгол с животом, похожим на примятое тесто — девять ножевых. Монгол прищурил и без того узкие глазки свои, кивнул на висящий на Ванькиной груди крестик:

- Глупая сказка...

больше, а так – «ничего».

- Почему? спросил Ванька сипло. И удивился собственному голосу, давно забытому за ненадобностью.
- Когда совсем мертвый, любой воскреснуть может, ты живой воскресни. Тогда и я твой понтрет набью... На живот, добавил монгол и как-то недобро засмеялся.

Больше он с ним не говорил. С ним вообще никто никогда не говорил. Наверное, именно от этого хотелось в петлю. И удивился вдруг такому простому и легкому решению. Решению, которое избавит его от чудовищного завтрашнего «ничего». И не понял, почему раньше не пришло, почему не сделал это тогда, первой же ночью, после того, что все эти старые совершили над ним, или почему не сделал после татуировки, обозначавшей, что он и не человек

него двое помельче с оскалами вместо улыбок, понял, что сейчас начнется. Все, чего боялся, все, о чем слышал многократно — об изнасилованиях, пытках, о том, как лицом о бетонный пол и голову как орех. И сдаваться нельзя, терпеть нужно, до последнего терпеть и не даться живым. Иначе такое потом ждет, что и жить незачем. А так хоть какой-то шанс. И осознал, сколько ему еще перетерпеть, и не избежать никак, расплакался вдруг по-детски, поскуливая и всхлипывая. И этот, огромный и страшный, скривился так, будто и не человек перед ним, с которым и повоевать интересно, а так, мяса кусок. Живой еще, но зря живой. И ссать на него не стал, и насиловать тоже, плюнул куда-то мимо и отошел. А Ванька рыдал и думал о том, что лучше бы били как человека, а не так вот — будто и нет его.

Надо было сразу, в тот же день, как сел. Не дожидаясь вечера даже. Не подумал тогда. А потом поздно было. Когда уже навис над ним тот, огромный и страшный, а по сторонам от

Почему потом, каждый день стирая им портки и убирая парашу, терпел. Зачем терпел? Как все, прождал пять лет вожделенной воли, мечтал о ней, томился, хотел выйти. Дурак. Куда выйти-то? К мамке? Мамка давно умерла, и бог знает, где ее похоронили. К Любке? Она наверняка давно замужем, родила тройню и терпит побои какого-нибудь горького пьяницы.

А теперь, когда до свободы рукой подать, и завтра, совсем уже через несколько часов, он получит назад свои шнурки, платок, мамкой еще сунутый зачем-то в нагрудный карман, ремень и паспорт с отметиной, стало ясно, что там, на воле иначе не будет. И нет способа избежать. Можно, конечно, и за тысячи километров, и за границу, стравить татуировку, сменить внешность, так, чтобы никто и не догадался, но внутри он навсегда останется этим вот обломком человека, даже и не человека, а животного — затравленного, измученного, без чести и голоса.

Но и тогда не удавился, сам не понял почему. Из любопытства скорее, а совсем не из жажды жить или из трусости. Хотелось посмотреть, как там, на воле. И когда шел по деревне среди покосившихся до неузнаваемости заборов и заросших огородов, мечтал, что выбегут все сейчас ему навстречу, станут дразниться и кричать, что вот, мол, идет Ванька Пантелеев, который Семена лопатой порубил за то, что он Любку его изнасиловал. И если станут кричать и дразниться, или камнями даже кидать, то это будет хорошо. Значит, живой. Значит, есть такой человек — Ванька Пантелеев. Но никто не вышел. А оттого казалось, что они уже узнали. А ведь могли узнать, потому что много кто уже отсидел и вернулся.

А вечером, когда он лежал плашмя в промерзшем доме на мамкиной кровати, лежал и

пытался вспомнить, как мама ходила и улыбалась, голос ее, пришла Любка. Другая совсем. Как и ожидал – толстая, испитая, и с ребенком. Села на табуретку у порога и заплакала. И ясно было, что она не по нему плачет, а по тому, как могла целоваться под вишнями, лежать у пруда и обнимать мягкой рукой.

А потом вдруг бросилась, расцеловала, прижала, и стало так же хорошо и спокойно, как летом под вишнями. А потом сказала, что это не просто сын. Это его сын — Иван Иванович. Может, и врала. Мало ли с кем нагулять могла за столько лет. А теперь вот одна осталась и решила... Или вообще, от Семена — насильника. Но Ванька так ясно понял вдруг, что не надо ему этого знать, что тоже заплакал. От одной мысли, что этот вот тоненький, большеглазый, и вправду похожий на него пацан — сын, все внутри наполнялось горьким, тягучим и теплым. Наполнялось и склеивалось. И Любку целовал бесконечно, и пацана. Из благодарности больше, чем из любви. Значит, есть теперь такой человек — Ванька Пантелеев. И он не пустота, он отец. И это казалось таким непостижимо огромным чудом, что кричать хотелось. Но он вместо этого суетливо растопил печку и побежал в магазин за конфетами. Бежал и думал, что если сейчас кто-то посмеет усомниться — убьет на месте. За сына всех убьет, даже господа бога. Но никто не посмел. Или сомнений не было.

И вот он стоял на перроне одной из мелких железнодорожных станций. Курил и думал о том, как доехать до брата. В столицу. К брату, не приехавшему даже на похороны матери. К брату, который, и его можно понять, совсем не рад зэку, да еще и семейному. Нет, денег на

билеты, прислал, конечно. Но кто ж знал, что встретится им на пути детский магазин. А это ж не кто-нибудь, это сын.

И теперь смотрел на свое отражение в стекле вокзального окна и улыбался виновато. Небритый, тусклый какой-то мужичонка, в засаленной фуфайке не по размеру, в драных сандалиях, надетых на толстый шерстяной носок. Но это ничего. Потому что там, внутри, в зале ожидания, сидя спала, вздрагивая от неспокойных снов, толстая испитая женщина в грязном драповом пальто. А на полу мальчик в беленьких кроссовках и новеньком джинсовом костюмчике катал по полу огромный игрушечный самосвал. И чистенький, упитанный мальчик этот, с ярким китайским самосвалом, казалось, был из совсем иной жизни, жизни, в которой не бывает тюрем, лопат и намыленных шнурков.

А здесь, на перроне, было свежо и немного страшно. Накрапывал мелкий дождик, рельсы впереди тонули в туманной темноте. Но страх этот и неизведанная темнота, все было каким-то уютным и необычайно мирным, не похожим на то страшное ничто.

Так, обычное будущее обычного человека.

